

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ
(книга вторая)

Глава V

ОБЩЕСТВЕННАЯ МЫСЛЬ В ИЗЯЩНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

I

Историки русской литературы не всегда были справедливы в своем отношении к первым нашим деятелям в области художественного творчества пореформенной эпохи. У нас до сих пор довольно значительно распространен тот взгляд, что первоначально наша изящная литература отличалась полным или почти полным отсутствием *содержания*. Так, например, еще совсем недавно один исследователь утверждал:

«Для новой зарождавшейся светской литературы, без сомнения, прежде всего необходимо было освоиться с формой. Начало этому было положено Кантемиром. Его сатиры часто совершенно отрешены от жизни и современной действительности, и в этом их главный недостаток. Однако важно то, что благодаря ему приобретает права гражданства известная литературная форма. Раз она есть, при дальнейшем развитии литературы найдется для нее и живое содержание».

Это несправедливо и с точки зрения *теории* и с точки зрения *фактов*.

Вообще говоря, *форма* тесно связана с *содержанием*. Правда, бывают эпохи, когда она отделяется от него в более или менее сильной степени. Это — исключительные эпохи. В такие эпохи или форма отстает от содержания или содержание от формы. Но надо помнить, что содержание отстает от формы не тогда, когда литература только еще начинает развиваться, а тогда, когда она уже склоняется к упадку — чаще всего вследствие упадка того общественного класса или слоя, вкусы и стремления которого в ней выражаются. Примеры: декадентство, футуризм и прочие им подобные литературные явления наших дней, вызванные духовным

упадком известных слоев буржуазии. Литературный упадок всегда выражается, между прочим, в том, что формой начинают дорожить гораздо более, нежели содержанием. Но содержание так тесно связано с формой, что пренебрежение к нему быстро влечет за собою сначала утрату красоты, а потом и полное уродство формы. Для примера опять укажу на декадентство и футуризм в литературе и еще, пожалуй, на кубизм в живописи. Но в те эпохи, когда еще только начинается развитие литературы (или искусства), происходит явление, прямо противоположное тому, которое мы наблюдаем в эпохи упадка. Тогда не содержание отстает от формы, а наоборот — форма от содержания. И это как нельзя лучше видно на примере сатир Кантемира, будто бы совершенно лишенных содержания и оторванных от жизни. Мысли, в них содержащиеся, таковы, что некоторые из них до сих пор вполне сохранили свое значение (например, мысли о воспитании). Но форма, в которую облечены эти мысли, такова, что теперь уже нельзя читать Кантемира без довольно большого усилия. Да и после Кантемира литературе нужно было долго и много поработать над собой для того, чтобы стать в самом деле изящной, т. е. чтобы найти подходящую форму для того *содержания*, которым она располагала и которое в каждое данное время определялось общественными отношениями России.

В период своего «примирения с действительностью» Белинский, как известно, недолго любил сатиры. Но под конец своей жизни он относился к ней совсем иначе, и тогда он с удовольствием и, скажу, с гордостью отмечал, что наша литература, начавшись сатирой, была для нашего общества живым источником даже практических нравственных идей, и что в лице Кантемира она объявила нещадную войну невежеству, предрассудкам, сутяжничеству, ябеде, крючкотворству, лихоимству и казнокрадству, которые она застала в старом обществе не как пороки, но как правило жизни, как моральное убеждение. Этот отзыв Белинского о сатире Кантемира нисколько не противоречит действительности. Но спрашивается, могла ли бы эта сатира явиться источником нравственных идей для кого бы то ни было, могла ли бы она вести войну с общественными пороками, если бы она была лишена содержания и оторвана от жизни?

Та мысль, что выработка формы явилась едва ли не исключительным делом нашей литературы в течение XVIII и отчасти даже IX столетия, была твердо и ясно высказана у нас Н. Г. Чернышевским. Но у него она еще не имела того общего значения, какое придал ей цитированный мною выше исследователь. Во-первых, Чернышевский делал исключение именно для того «сатирического направления», которое, по его словам, «всегда составляло самую живую или,

лучше сказать, единственную живую сторону нашей литературы». Во-вторых, все, что было за пределами сатиры, грешило, как говорил он, отсутствием содержания не только в XVIII веке, но и в XIX, — *вплоть до появления Гоголя*. Чернышевский утверждал, что многие его современники уже не удовлетворялись содержанием *Пушкинской поэзии*. «Но у Пушкина, — прибавлял он, — было в сто раз больше содержания, нежели у его сподвижников, взятых вместе». В поэзии этих последних почти совсем не было содержания: «форма была у них почти все, под формою не найдете у них почти ничего».*

С этим едва ли согласятся современные нам исследователи. Да и невозможно согласиться с этим. Невозможно потому, что нас теперь уже не удовлетворяет точка зрения просветителей: ход общественного и литературного развития представляется нам уже в другом свете.

Чернышевский находил, что *сатирическое* направление изящной литературы правильнее было бы назвать *критическим*. А критическое направление он определял как направление, которое, «при подробном изучении и воспроизведении явлений жизни, проникнуто сознанием о соответствии или несоответствии изученных явлений с нормами разума и благородного чувства».**

Он был убежден, что сознание такого соответствия или несоответствия было, до выступления Гоголя, слишком мало развито у деятелей нашей изящной литературы. *Поэтому* он и говорил, что вплоть до эпохи Гоголя литература эта была почти совсем лишена содержания и что Гоголь впервые пробудил в нас сознание о нас самих.

Как и все просветители, он слишком склонен был *принимать за абсолютную* ту «норму разума и благородного чувства», которой держался он со своими единомышленниками. Он забывал, что норма эта изменялась вместе с изменением обстоятельств времени и места. Так как его собственные разум и благородное чувство во многих отношениях очень сильно отличались от разума и благородного чувства литературных деятелей прежних эпох, то он и полагал, что для этих деятелей форма была почти все, а за формой у них не было почти ничего.

Это — точка зрения *рационализма*. В настоящее время мы предпочитаем смотреть на явления общественного развития не с *рационалистической*, а с *исторической* точки зрения.

* Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. II, стр. 13. Между сподвижниками Пушкина Чернышевский называет Языкова, Козлова и проч.

** Там же, стр. 12, примечание первое.

Как не однажды сказано выше, первые литературные деятели после Петровской эпохи сами были, в известном смысле, *усердными просветителями*. Отнюдь не случайным явилось то обстоятельство, что Татищев написал «Разговор о пользе наук и училищ», а первой сатирой Кантемира была сатира «На хулящих учение». В предисловии к ней Кантемир говорил: «Сатиру можно назвать таким сочинением, которое, забавным слогом осмеивая злонаравие, старается исправлять нравы человеческие. Потому она в намерении своем со всяким другим нравоучительным сочинением сходна». Совершенно понятно, что при таком взгляде на задачу сатиры он не мог быть равнодушен к *содержанию* своих сатирических произведений. Но следует помнить при этом, что уже с первых шагов нашей литературы нравоучительный элемент сильно проникал у нас даже в такие отрасли ее, которые вовсе не имели прямого отношения к морали.

II

В предисловии к той же сатире Кантемир признавался: «Я в сочинении своих (сатир.— *Г. П.*) наипаче Горацию и Боалу, французу, последовал, от которых много занял, к нашим обычаям присвоив». Тут в немногих словах дана правильная оценка деятельности нашего первого сатирика; он «последовал» и Горацию и «Боалу, французу», да и не только им: он брал свое добро всюду, где находил его. Но, «последуя» иностранным писателям, он «присваивал» заимствованное к *русским «обычаям»*. Как именно делал он это, показывает история пятой его сатиры, рассказанная в примечаниях к ней:

«Стихотворец, пред отъездом в чужие края,— читаем мы там,— сочинил было сатиру, на подражание осьмой Боаловой, которая надписана на человека; но потом, усмотрев, что (его собственная сатира — *Г. П.*) почти вся состояла из речей французского сатирика, выбрав из нее малую часть стихов, составил себе такую сатиру». Но пятая сатира — одна из самых длинных Кантемировых сатир. Заимствованная им у Буало «малая часть стихов» почти совсем пропадает в том, что «составлено им самим». И это, *им самим составленное*, имеет очевидное и непосредственное отношение к русской общественной жизни. Кто читал пятую сатиру, тот, наверно, не забыл поистине превосходного описания всеобщего пьянства в праздничный день:

. еще не обедал
Было народ, и солнце полкруга небесна
Не пробегло, а почти уж улица тесна
Была от лежащих тел. При взгляде я первом

Чаял, что мор у вас был, да не пахнет стервом.
И вижу, что прочие тех не отбегают
Тел люди, и с них самых ины поднимают
Руки, ины головы тяжки и румяны;
И слабость ног лишь не даст встать; словом, все пьны...

Я с удовольствием продолжил бы эту выписку, если бы она не была длинна и без того. В ней поражает не оторванность от жизни, а, напротив, реализм воспроизведения одного из самых непривлекательных народных «обычаев». Точно так же прямо из жизни выхвачен образ купца, очень заботливо соблюдающего все церковные обряды и в то же время бессовестно обманывающего своих покупателей. На упрек в обмане богомольный купец (он торговал водкой) отвечает:

Кроме того, что товар дорог мне приходит
В лавку; сколько, знаешь ли, в подарок исходит
Судье, дяку и писцу, кои пишут, правят
И крепят указы мне? и сколько заставят
В башмаках одних избить, пока те достану?
Сколько ж даром испою? Сеньке и Ивану
Ходокам, и их слугам, что и спят с стаканом?

Все эти взяточники и все эти полицейские служители, которые даже «спят с стаканом», опять заимствованы были не из «Боаловой» сатиры, а прямехонько из русской жизни. Но, может быть, всего удачнее в пятой сатире Кантемира описание судьбы временщика. Мне очень хочется напомнить читателю это превосходное описание:

Болваном Макар вчера казался народу,
Годен лишь дрова рубить или таскать воду;
Никто ощупать не мог в нем ума хоть кроху,
Углем черным всяк пятнал совесть его плоху.
Улыбнулося тому ж счастье Макару.
И сегодня временщик: уж он всем под пару
Честным, знатным, искусным людям становится,
Всяк уму наперерыв чудну в нем дивится,
Сколько пользы от него царство ждать имеет!

Тогдашние русские люди, выдавшие немало таких временщиков, должны были признать, что портрет совершенно сходен со своим оригиналом...

Не могли они не согласиться и с тем, что дальнейшая судьба временщика тоже изображена Кантемиром с полной точностью:

...Макар скоро поскользнулся
На льду скользком; день его светлый столь минулся
Спешно, сколь спешно настал; в прежню вдругорь сходит
Глупость свою, и с стыдом в печали проводит
Достальную бедно жизнь между соболями.
Кои на место его спешат, ждут и сами
Часто тот же себе рок; однако ж пихает
Друг друга, и на-прерыв туда поспешает.

Да, именно так и бывало: победители спешили наслаждаться своей победой и роскошествовали в Петербурге, а побежденные отправлялись в Сибирь, где и проводили остаток своей жизни «между соболями». Тот факт, что Кантемир заклеил своей насмешкой эту беспощадную взаимную борьбу appetitов и честолубий, еще раз свидетельствует о том, как близка была его сатира к нашей тогдашней общественной жизни.

Если мы сравним его пятую сатиру с восьмой сатирой Буало, в подражание которой она была написана, то, не возвращаясь к сказанному выше о незначительности размеров прямого заимствования, сделанного русским сатириком у французского, мы придем к такому выводу:

Произведение Буало несравненно выше произведения Кантемира в смысле *формы*. Но при этом оно беднее его конкретным, прямо из жизни взятым *содержанием*.

Этот вывод может быть полезен для проверки некоторых, к сожалению до сих пор весьма распространенных у нас, мнений о русской литературе XVIII века.

Недостаток места не позволяет мне подробно рассматривать здесь содержание других сатир Кантемира. Скажу только, что если пятая сатира его едва ли не самая содержательная, то все-таки ни в одной из остальных автор не отрывается от жизни.

Возьмем хотя бы шестую сатиру, написанную на отвлеченную тему «о истинном блаженстве».

Кантемир доказывает в ней преимущества умеренности:

Тот в сей жизни лишь блажен, кто малым доволен.

В тишине знает прожить от суетных волн

Мыслей, что мучат других, и топчет надежду

Стезю добродетели к концу неизбежную.

На первый взгляд могло бы, пожалуй, показаться, что это рассуждение о преимуществах умеренности осуждено вращаться в области абстракции. Но это не так. К убеждению в выгодах умеренности Кантемир пришел не посредством отвлеченных соображений, а путем близкого знакомства с той же общественной жизнью, которая так хорошо изображена им в пятой сатире. Мораль сатиры «О истинном блаженстве» представляет собою логический вывод из наблюдений именно над этой жизнью.

Исследователи, занимавшиеся моралью Кантемира, не всегда принимали это в соображение и потому сильно ошибались в своем суждении о ней. Я уже говорил об этом в другой связи. Но на этом стоит остановиться.

Моральная философия Кантемира, по мнению Галахова, стыдлива и несмела, как его характер: «Она проповедует добро, боясь, поражает порок, краснея. Это не мораль

во всей ее неприкосновенности, это полумораль, близкая к равнодушию, к индифферентизму. Неудивительно, что Кантемир так увлекался Горацием, который в нравственности тоже «брал не с высоко», стремясь лишь к покою, к приятной умеренности и к беззаботности о будущем дне».

У Галахова вышло, что Кантемир, подобно Горацию (см. стр. 93 и след.), не преследует общественных недостатков, а «только смеется» над ними.

Но каким же способом сатирик преследует общественные недостатки? Он именно «только» смеется над ними. У него вообще нет другого оружия, кроме оружия насмешки. И вопрос вовсе не в том, *преследует ли* он общественные недостатки или же «только» *смеется* над ними, а в том, *как* он смеется. Сообразно настроению сатирика, его насмешка принимает самые различные тоны. И если мы при слушаемся к тону сатир Кантемира, то мы найдем, что он вовсе не так «ровен», как это казалось Галахову. Недаром обижались на Кантемира осмеянные им современники. Да что современники! Даже объективному историку С. М. Соловьеву трудно было помириться с тем тоном, каким Кантемир отзывался о духовенстве. Почтенный ученый ворчал: «Говоря о зависти, Кантемир непременно выставит зависть попов соборных... Кантемир не пропустит укорить попа и за то, что он «молитвы ворчит, спеша сумасбродно, сам не зная, что поет». Посмеется и над аппетитом поповской семьи» и т. д.*

Согласитесь, что подобные насмешки, что такой «ровный тон» сатирика мог навлечь на него серьезные преследования. Но другим, действительно «ровным», тоном Кантемир и не способен был писать. Он сам говорил о себе в сатире четвертой («К музе своей»):

...Я знаю, что когда хвалы принимаюсь
Писать, когда, Муза, твой нрав сломить стараюсь,
Сколько ногти ни грызу и тру лоб вспотелый,
С трудом стишка два сплету, да и те неспелы
Жостки, досадны ушам, и на те походят,
Что по целой азбуке святых житье водят.
Дух твой ленив, и в зубах вязнет твое слово
Не забавно, не красно, не сильно, не ново;
А как в нравах вредно что усмотрю, умнее
Сама ставши, под пером стих течет скорее.
Чувствую сам, что тогда в своей воде плаваю
И что чтецов я своих зевать не заставляю.
Проворен, весел спешу, как вождь на победу
Или как поп с похорон к жирному обеду.

Белинский, невысоко ставивший Кантемира как поэта, говорил, что в своих сатирах он выступал публицистом, писавшим о нравах «энергически и остроумно». Это сужде-

* С. М. Соловьев, История России, кн. 4, стр. 1496—1497.

ние гораздо более справедливо, нежели отзыв Галахова. Но кто энергично пишет об общественных недостатках, тот, очевидно, далек от индифферентизма.

Уподобление тона сатир Кантемира тону сатир Горация неосновательно, потому что у Кантемира преобладает тон *негодования* или, по крайней мере, сильного *неудовольствия*, а у Горация тон *веселой шутки*. Да, — как отмечено мною раньше, — Кантемир и не мог писать тоном Горация, так как слишком не похоже было положение России времен «ученой дружины» на положение Рима эпохи Августа. Римляне названной эпохи, в самом деле, стали индифферентистами, изверившись в идеал старой республиканской добродетели, а «ученая дружина» крепко держалась за свой идеал, правда, совсем не республиканский. Кантемир сходил с Горацием, собственно, только в склонности к «златой умеренности». Но склонность эта даже и у Горация не вполне достойна того безусловного порицания, с каким относился к ней Галахов, — да и не он один, — у Кантемира же она является неоспоримым признаком *значительной возвышенности нравственных понятий*. Чтобы убедиться в этом, нужно только принять в соображение исторические условия.

III

Равнодушие к общему благу, распространившееся в Риме вследствие постепенного упадка республиканского строя, сопровождалось жадной наживы и стремлением к грубым материальным наслаждениям: об этом свидетельствует, между прочим, сам Гораций, который, в своем первом послании к Меценату, жалуется, что все в один голос кричат:

Cives, o cives! quaerenda pecunia primum est;
Virtus post nummos.

При таком настроении римского общества проповедь «златой умеренности» возникла, как *реакция против неумеренной жадности к деньгам*. Разумеется, она оставалась бессильной, так как ровно ничего не изменяла в тех общественных отношениях, которыми вызвано было пренебрежение к старозаветной римской добродетели. Да она и не давалась целью какого бы то ни было общественного переворота. Сознывая свое бессилие, она сама, — и вполне естественно, — проникалась скептицизмом. Восхищаться ею невозможно; но все-таки не следует забывать, что *всякий, кто способен был вести такую проповедь, тем самым доказывал свою неспособность дойти до того нравственного падения, до какого дошло огромное большинство тогдашних римских граждан*.

Мы уже знаем, что Кантемир перевел «Послания» Горация. Интересующее нас место первого послания к Мecenату гласит в его переводе так:

...Граждане, граждане!
Деньги вы прежде всего доставать трудитесь,
Добродетели потом...

Кантемиру нравилось, что «Гораций сам всегда говорит и показать тщится неосновательность сего правила: *Virgus post pumpos**. И наш русский сатирик «сам всегда говорил и показать тщился» то же самое своим современникам. Он призывал к *умеренности* в таком обществе, в котором жажда наживы и грубых материальных наслаждений тоже становилась,— хотя и не по тем же самым причинам, по каким это произошло в Риме,— *беспредельной*.

Характеризуя состояние нравственности нашего правящего класса в царствование Анны, кн. М. Щербатов, в своей известной книге о повреждении нравов в России, говорит, что тогда господствовали «презрение божественных и человеческих должностей **», зависть, честолюбие, сребролюбие, пышность, уклонность, раболепность и лесть, чем каждый мнил свое состояние сделать и удовольствоваться своим хотением».

Хотя риторический тон этой характеристики может подать повод к сомнению в ее правильности, но нельзя не признать, что она очень близка к истине. Высший круг правящего класса, — тот его круг, который, «толпясь у трона», распоряжался судьбами всей страны,— в самом деле обнаруживал полное презрение к «божественным и человеческим должностям»***. И вот в такой-то среде, где господствовали «зависть, честолюбие, сребролюбие, пышность, уклонность, раболепность и лесть», явился человек, проповедовавший совсем другой идеал, утверждавший, что счастье совсем не там, где его ищет нравственно и умственно неразвитое большинство:

Малый мой дом, на своем построенный поле,
Кое дает нужное умеренной воле,
Не скудный, не лишний корм, и средню забаву,
Где б с другом с другим я мог, по моему нраву
Выбранным, в лишны часы прогнать скуки бремя,
Где б, от шуму отдален, прочее все время
Провожать меж мертвыми греки и латины,
Исследуя всех вещей действия и причины,
Учась знать образцом других, что полезно,
Что вредно в нравах, что в них гнусно иль любезно:
Желания все мои крайни составляет.¹

* Кантемир. Сочинения, т. I, стр. 400, примечание к стиху 76.

** Тогда «должностями» назывались у нас обязанности.

*** Так же мало помнил он о них и при предшественниках Анны,— Петре II и Екатерине I,— но от этого было не легче.

В этом идеале нет ничего радикального. Это, действительно, идеал «золотой умеренности». Но умеренность Кантемира не имеет ничего общего с умеренностью и аккуратностью Молчалина. Он советует не унижаться, а *беречь свое человеческое достоинство*, не угождать тем, от которых можно чем-нибудь попользоваться, а *учиться, «исследуя всех вещей действия и причины»*. В тогдашнем обществе человек, проповедывавший такую умеренность, являлся настоящим «учителем жизни». Правда, что общественные отношения России, которыми обуславливалась в последнем счете и крайняя развращенность высшего круга правящего класса, несколько не изменялись вследствие проповеди Кантемира. Влияние этой проповеди оставалось очень слабым уже по одному тому, что невелик был круг его читателей. Его сатиры долго оставались рукописными. Он приготовил их к печати только в 1743 году. Но и тогда издание их не состоялось, так что впервые они появились девятнадцать лет спустя, в 1762 году, *после того, как они вышли за границей во французском и немецком переводах*. Однако, хотя непосредственное влияние сатир Кантемира было очень слабо, оно шло *не против* исторического движения, а *в его направлении*. Число людей, способных увлекаться наукой и пренебрегать ради нее жизненными благами низшего рода, хотя и медленно, но все-таки увеличивалось на Руси, а по мере того, как увеличивалось это число, увеличивалось и влияние того идеала, к которому стремился Кантемир. Можно сказать, не впадая в парадокс, что если со временем даже весьма умеренный Галахов стал находить идеал Кантемира недостаточно строгим,— т. е. если нравственные понятия европеизованных русских людей значительно изменились к лучшему,— то это произошло не без влияния Кантемира.

IV

Habent sua fata scriptores!* Кантемиру не повезло. Его обвиняли в умеренности исследователи, взгляды которых были как нельзя более далеки от радикализма. Это само по себе несколько странно. Но, пожалуй, еще более странно, что обвинять его вошло в привычку и что теперь его обвиняют, даже не давая себе труда заново пересмотреть его «дело». Само собою понятно, что при этом совершаются непростительные промахи.

И. Я. Порфирьев утверждает, например, что для избежания борьбы, гонений или неприятностей, Кантемир «советует и в выборе между правдой и неправдой держаться

* Писатели имеют свои судьбы (лат.).

также середины и даже позволяет быть злым, если без вреда себе нельзя быть добрым».

В подтверждение этого приводится, во-первых, короткий отрывок из второй сатиры Кантемира, дополняемый еще более коротким отрывком из седьмой его сатиры.

Остановимся сначала на этом последнем отрывке. Вот он:

Нельзя ль добрым быть; будь зол, своим не к изъяну;
Изряднее всякого убегать порока
Нельзя ль? укрой лишнего от младенца ока.

По привычке повторяя ставшее ходячим обвинение против Кантемира, И. Я. Порфирьев не заметил, что в строках, им приведенных, говорится *не о том, каков должен быть идеал взрослых, а о том, как должны взрослые воспитывать своих детей*. Кантемир говорит им: если вы сами порочны, то постарайтесь, по крайней мере, скрывать свои пороки от глаз ваших детей, чтоб они не начали подражать дурному примеру. И он подробно разъясняет свою мысль:

Гостя когда ждешь к себе, один очищает
Слуга твой двор и крыльцо, другой подметает
И убирает весь дом, третий трет посуду,
Ты сам над всем настоишь, обежишь повсюду,
Кричишь, беспокоишься, боясь, чтоб не встретил
Глаз гостей малейший сор, чтоб он не приметил
Малейшу нечистоту; а ты же не тщишься
Побережь младенцев глаз; ему не стыдишься
Открыть твою срамоту. Гостя ближе дети,
Большу бережь ты для них должен бы иметь.

Итак, сатирик советует: закрой свою срамоту от невинного детского взора*, а историк литературы уверяет, что покладистый сатирик отводит «срамоте» место в своем идеале. Где же тут справедливость? Но это не все.

Наши строгие исследователи почему-то упускали в данном случае из виду, что в лице Кантемира они имеют дело с одним из птенцов Петровых, которые имели полное основание, — я чуть было не сказал: «должность», — опасаться вредного влияния старой Московской Руси на новую, пореформенную Русь. В той же сатире, говорящей, повторяю, не об идеале, а о воспитании, Кантемир с любовью указывает на Петра Первого, который:

...Сам странствовал, чтобы подать собою
Пример в чужих брать краях то, что над Москвою
Сыскать нельзя: сличные человеку нравы
И искусства...

* В примечании к стиху, начинающемуся словами: «Нельзя ль добрым быть», говорится: «Буде тебе трудно унять свои страсти и воздержаться от злонаравий, по крайней мере укрывая свои злые поступки от глаз детей твоих; будь зол, но не ко вреду твоих детей». Яснее ясного, что здесь речь идет о нравственном вреде дурного примера.

Наконец, — last not least,* — наш горячий поклонник Петра был сыном XVIII века, вполне правильно приписывавшего огромное значение *воспитанию вообще*, а в процессе воспитания — *примеру*. В той же сатире Кантемира мы читаем:

Большую часть всего того, что в нас приписуем
Природе, если хотим исследовать зрело,
Найдем воспитания одного быть дело.

Это — мысль Локка, у которого Кантемир почти целиком заимствовал свой взгляд на воспитание.** Как много значил в глазах нашего автора пример, видно из следующих его строк:

Пример наставления всякого сильнее:
Он и скотов следовать родителям учит.
Орлий птенец быстр летит, щенок гончий мучит
Куриц во дворе, лоб со лбом козлята сшибают.
Утята лишь из яйца выдут, плавать знают.
Не смысл учит, не совет: того не имеют,
Сего нельзя им подать; подражать умеют...

Подражать порочным родителям значит упражняться в порочности. Вот почему, и только поэтому, Кантемир желал бы, чтоб испорченные родители, по крайней мере, скрывали свою «срамоту» от детей. Что можно возразить против такого желания?

И. Я. Порфирьев осуждает еще то мнение, высказанное Кантемиром во второй своей сатире, что мы не всегда обязаны высказывать правду:

...Лучшую дорогу
Избрал, кто правду всегда говорить принялся,
Но и кто правду молчит, виновен не стался,
Буде ложью утаить правду не посмеет:
Счастлив, кто середины той держаться умеет...

И еще раньше Порфирьева мнение это осуждалось,** как недостойное человека, способного доработаться до строгих правил нравственности. Но и в этом случае упрек, выдвигавшийся против Кантемира, был лишен основания. Можно строго критиковать, как это и делал Гегель, Кантову *теорию нравственности*. Однако никто не скажет, что Кант не был достаточно строг в своих *практических нравственных требованиях*. Но и строгий Кант совершенно согласился бы с Кантемиром. Известны его слова: «Если все, что говоришь, должно быть истинным, то тем не менее человек не обязан высказать гласно всякую истину».****

* Последнее по счету, но не по важности (англ.).

** См. „Some thoughts concerning education“, § 32, в четвертом томе сочинений Локка, Лондон 1767, стр. 15.

*** Особенно Галаховым.

**** См. Куно Фишер, История новой философии, т. IV. Им. Кант. СПб, 1901, стр. 97.

В данном случае имеют значение и обстоятельства, подавшие Канту повод написать эти слова. Король Фридрих-Вильгельм II в именном указе выразил ему свое неудовольствие за его взгляд на христианскую веру, высказанный в книге «Религия в пределах чистого разума». Кант не мог, конечно, отказаться от этого взгляда. Но он счел себя нравственно обязанным впредь не высказывать его. Он ответил королю, что будет воздерживаться «от всякого публичного изложения всего, касающегося религии». И он свято выполнял это обещание вплоть до восшествия на престол нового, свободнее мыслившего короля.

Я полагаю, что на месте Канта французский просветитель повел бы себя иначе. Он счел бы себя в праве распространять, при случае, свой взгляд на религию, *несмотря на то, что король резко осудил его*. Можно ли было заключить отсюда, что нравственные правила французских просветителей отличались большею или, — если угодно, — меньшею строгостью, нежели нравственные правила кенигсбергского философа? Не думаю. Все, что мы могли бы сказать здесь, сводится к тому, что *в политическом смысле* Кант был настроен не так, как французские просветители, и что ему было чуждо оппозиционное настроение этих последних.

Мольеров Альсэст² требовал, чтобы люди всегда и везде высказывали все, что думают:

Je veux que l'on soit homme et qu'en toute rencontre
Le fond de notre coeur dans nos discours se montre,
Que ce soit lui qui parle, et que nos sentiments,
Ne se masquent jamais sous de vains compliments.*

На это его друг Филэнт возражает:

Il est bien des endroits où la pleine franchise
Deviendrait ridicule et serait peu permise;
Et parfois, n'en déplaît à votre austère honneur,
Il est bon de cacher ce qu'on a dans le coeur.**

Кто прав? Оба правы. Справедливо то, что *обязательна* правдивость. Но справедливо и то, что полная откровенность нередко становится *непозволительной* и даже смешной. Чем разрешается это противоречие? Не рассудком, а

* Надо быть мужем и всегда выражать словами то, что лежит на сердце. Пусть говорит именно сердце, и пусть наше мнение никогда не прикрывается пустыми комплиментами.

** Очень часто полная откровенность была бы смешна и непозволительна; и как бы ни возмущалась этим ваша суровая правдивость, иногда хорошо таить то, что лежит у нас на сердце.— Интересно, что сам Альсэст не сразу решился высказать свое отрицательное мнение о сонете Оронта. А еще более замечательно, что он соглашался назвать этот сонет хорошим, если король *прикажет ему это*. Стало быть, при таком исключительном условии он готов был идти дальше Канта, согласившись только молчать.

правственным чутьем, которое учит, когда надо высказывать правду и когда можно и даже следует хранить ее про себя. Тут тоже все зависит от обстоятельств. И не только от обстоятельств личной жизни собеседников, а также и от *условий эпохи*. В XIX веке у нас появились свои Альсэсты: вспомните Базарова с его грубоватой, но почти беспредельной правдивостью. Но когда появились Базаровы, ими наверно стали возмущаться многие из тех, которые прежде сами упрекали Кантемира в нравственном эклектизме, за то его мнение, что не всегда следует говорить все, что думаешь.

Как бы там ни было, несомненно, что в эпоху Кантемира правдивость Базаровых была просто-напросто невысказанной.

Ход исторического развития обеспечил Альсэсту возможность удалиться от всяких сношений со своими развращенными современниками.* Точно так же Базаровы могли сказать себе, как говаривал раньше их Чацкий: «прислуживаться тошно» — и посвятить свои силы естествознанию. Европеизованные дворяне времен Кантемира не пользовались даже и такой ограниченной свободой. Как и все их сословие, *они обязаны были служить*. А кто служил, тому необходимо было, если не прислуживаться, — этого можно было избежать, следуя дорогой Кантемиру «златой умеренности», — то практиковать еще с гораздо большим усердием, чем Кант, искусство «держания языка за зубами...»

V

Белинский сказал, что, каков бы ни был талант Сумарокова, его нападки на «крапивное семя» всегда будут заслуживать почетного упоминения от историка русской литературы.

Против этого можно возразить одно: Сумароков (1718—1777 гг.) заслуживает почетного упоминения *не только* за свои нападки на «крапивное семя».

Историк русской литературы с одобрением отзовется о тех требованиях, которые он предъявлял писателю вообще и стихотворцу в частности:

Стихи писать не так легко, как многим мнится;
Незнающий одной и рифмой утомится.
Не должно, чтоб она в плен нашу мысль брала;
Но чтобы нашу невольницей была...

В другом месте той же своей «эпистолы» («О стихотворстве») он повторяет:

Нечаянно стихи из разума не льются,
И мысли ясные невежам не даются.

* См. монолог его в первом явлении пятого действия.

А в конце ее мы встречаем поистине золотые слова:

Все хвально: драма ли, эклога или ода:
Слагай, к чему влечет тебя твоя природа;
Лишь просвещение, писатель, дай уму!..

И не следует думать, будто в его глазах *просвещение* являлось *достаточным* условием успешного поэтического творчества. При отсутствии страсти «стихотворство» останется холодным, — утверждал он, — как бы ни углублялся в него писатель «мыслию». Известно, что тем, которые хотели писать элегии, он советовал предварительно влюбиться.* Конечно, не все хорошие элегии обязаны своим происхождением этому средству, которого нельзя не признать слишком героическим. Однако совет хорош хоть тем, что показывает нам, какую важность приписывал Сумароков *чувству*.

Большой заслугой Сумарокова перед русской литературой является твердое и настойчиво высказывавшееся его убеждение в том, что —

Прекрасный наш язык способен ко всему.³

В течение всей своей литературной деятельности он неизменно хранил это убеждение и, как умел, очень заботился о чистоте русского языка.**

Очень ошибаются те исследователи, которые, подобно Н. Буличу, находят, что сатиры Сумарокова были содержательнее сатир Кантемира. Они, наоборот, беднее их содержанием. Но несомненно, что сатирические произведения автора «Хора к превратному свету» заключают в себе немало интересного и помимо действительно ядовитых нападок на приказных. В качестве сатирика Сумароков ставил себе цель гораздо более широкую, нежели борьба с «крапивным семенем». Уже в первой своей сатире («Пиит и друг его») он говорит:

Где я ни буду жить, в москве,*** в лесу, иль поле,
Богат или убог, терпеть не буду боле,
Без обличения, презрительных вещей.

*Коль хочешь писать, непременно влюбись...

** Язык наш сладок, чист и пышен и богат;
Но скупно вносим мы в него хороший склад;
Так чтоб незнапием ево нам не бесславить,
Нам должно весь свой склад хоть несколько поправить.
Не нужно, чтобы всем над рифмами потеть,
А правильно писать потребно всем уметь.

(Ср. его же «басенку» «Порча языка»).

*** В стихотворных своих сатирах Сумароков писал собственные имена с маленькой буквы.

Доколе дряхлостью иль смертью не увяну.
Против пороков я писать не перестану.

Какие именно общественные и нравственные явления относил он к области порочных, это лучше всего показывает названный мною выше «Хор к превратному свету».

Синицу, прилетевшую из-за моря, спрашивают, каковы «обряды» в чужих странах. Она отвечает, что там все превратно: воеводы — правдивы, приказные не берут взятки, купцы не обманывают, пьяные по улицам не ходят, людей на улицах не режут, ораторы не мелют вздору, стихотворцы не кропают виршей и, что для нас, пожалуй, всего интереснее:

С крестьян там кожи не сдирают,
Деревень на карты там не ставят:
За морем людьми не торгуют.

Эти три последние черты «превратных» заморских «обрядов» особенно интересны ввиду того, что Сумароков был, как известно, убежденным сторонником крепостного права. Некоторые исследователи не без удивления спрашивали себя: как же согласить это его убеждение крепостника с его злыми нападками на дурных помещиков? Но здесь, собственно говоря, нечего соглашать. Честные идеологи всякого данного общественного порядка, основанного на подчинении одного класса (или сословия) другому, всегда восставали против *злоупотребления* теми исключительными правами, которыми пользовался господствовавший класс. И чем искреннее было их убеждение в том, что существование таких прав необходимо для общей пользы, тем энергичнее восставали они против злоупотребления ими. Лицемерное желание скрыть от нескромных глаз подобные злоупотребления возникает только тогда, когда существующий общественный порядок близится к концу и когда его идеологи сами начинают сомневаться в его правомерности. Сумароков был весьма далек от подобных сомнений. Поэтому он и мог, нимало не противореча себе, отстаивать крепостное право и одновременно с этим жестоко порицать бесчеловечных помещиков. Он верил в солидарность интересов помещика с интересами его крепостных. По его мнению, «блаженство» деревни состояло не в одном только изобилии помещика, но в общем изобилии всего ее населения. И он говорил, что в качестве «головы» своих подданных помещик обязан сохранять и мизинец, «ибо голова тела и мизинцу состраждет».* Жадный помещик не *домостроитель*, а *доморазоритель*. Между тем государству необходимо домостроительство, приумножающее изобилие. Доморазоритель вредит не только своим крестьянам, с которых он сдирает кожу, но и

* В статье «О домостроительстве».

всему государству. Так рассуждал Сумароков, и насколько было почтено в его мнении имя домостроителя, настолько презирал он «доморазорителей». Злой и жадный помещик поступает «противу права морального и политического». Он — «изверг природы» и, — устами Сумарокова говорил здесь человек XVIII столетия, — невежа и во естественной истории и во всех науках, тварь безграмотная...*

В лице Сумарокова, как и в лице Кантемира, мы имеем дело с идеологом европеизованной части русского «шляхетства». Этот родовитый воспитанник сухопутного Шляхетного корпуса был, по-своему, очень требователен в отношении к дворянству. Но ему и в голову никогда не приходило, что дворянин может покинуть дворянскую точку зрения. Его седьмая сатира заключает в себе целый свод житейских правил, обязательных, по его убеждению, для честного человека:

Услужен буди всем, держися данных слов,
Будь медлен ко вражде, ко дружбе будь готов!
Когда кто каится, прощай его без мести,
Не соплетай кому ласкательства и лести,
Не ползай — ни пред кем, не буди и спесив;
Не будь нападчиком, не буди и труслив,
Не будь нескромен ты, не буди лицемерен,
Будь сын отечества и государю верен!⁴

Нечего и говорить: «шляхетные» современники Сумарокова далеко ушли бы вперед в смысле нравственного развития, если бы стали последовательно держаться этих правил! Но, чтобы подвинуться вперед в этом смысле, им, — думал сатирик, — не было надобности восставать против тогдашнего порядка вещей и проникать своим умом за пределы «шляхетного» кругозора. Ум Сумарокова никогда и не проникал за эти пределы.**

Правда, иногда в его сатире слышится как будто революционная нота. Так, например, рассуждая «о благородстве», он спрашивает:

На то ль дворяня мы, чтоб люди работали,
А мы бы их труды по знатности глотали?
Какое барина различье с мужиком?
И тот, и тот земли одушевленный ком.⁵

* О Сумарокове рассказывали, что он не мог слышать равнодушно, когда «в его присутствии называли людей: *хамово колено*. С сильною досадою вскакивал он со стула, хватал шляпу, убегал и никогда уже не возвращался в тот дом» (Н. Булич, Сумароков и современная ему критика, стр. 92).

** Я, как сын и член отечества, не того по рассудку моему желаю, чтобы древние законы disproвержены, а новые установлены были, — говорит он в «Слове Екатерине II», — но чтобы они при случае исправляемы были. На что нет закона, или необстоятелен закон, или не ясен, на то бы закон сочинился, исправился и изъяснился». Типичное рассуждение «либерального», как выражаются теперь в некоторых странах, консерватора.

На этот вопрос он отвечает в духе, по-видимому, исполненным стремления к общественному равенству.

Достоин я, коль я сыскал почтенье сам:
А если ни к какой я должности не годеи:
Мой предок дворянин, а я не благороден.

Но это не должно вводить нас в заблуждение. *Язык Сумарокова идет здесь дальше, нежели его мысль.*

В таком же будто бы радикальном духе высказывался еще Кантемир. В его сатире «На зависть и гордость дворян злонравных» Филарет говорит Евгению:

Адам дворян не родил, но одно с двух чадо
Его сад копал, другой пас блеющее стадо.
Ноев ковчег с собой спас всех себе равных
Простых земледетелей, нравами лишь славных;
От них мы все сплошь пошли, один поране
Оставя дудку, соху; другой попозднее.

Из этого, казалось бы, следует то заключение, что надо уничтожить дворянские привилегии. Но тогдашние наши сатирики не расположены были делать из этого подобный вывод. Филарет спешит довести до сведения своего собеседника, что ему известно, «сколь важно» благородство и как «много в нем пользы». Сумароков почтительно именует дворян «первыми членами отечества». Вероятно, он не способен был и представить себе, как могло бы существовать «отечество», если бы в нем не было «благородства».

Общественно-политический идеал Сумарокова лучше всего выражен следующими его стихами:

Судьба монархии велела побеждать,
И сей империей премудро обладать;
А нам осталось, во дни ее державы,
Ко пользе общества, в трудах искати славы.

При этом предполагается, что материальная возможность искания «нами» славы прочно обеспечена крепостным трудом крестьянина. Радикальные, по внешности, тирады, встречающиеся в сатирах Кантемира и Сумарокова, означают только то, что «первые» члены отечества, пользуясь исключительными правами, не должны успокаиваться на лаврах своих предков. Их «благородство» должно поддерживаться их собственными трудами и их собственной славой.

Кантемиров Филарет совершенно ясно высказывает эту мысль:

Но тщетно имя одно, ничего собою
Не значит в том, кто себе своею рукою
Не присвоит почесть ту, добыту трудами
Предков своих. Грамота, плесенью и червями
Изгрызена, знатных нас детьми есть свидетель,
Благородными явит одна добродетель.

Сумароков говорит то же самое:

Дворянско титло нам из крови в кровь лияется,
Но скажем: для чево дворянство нам дается.
Коль пользой общества мой дед на свете жил;
Себе он плату, мне задаток заслужил.

Достойны величайшего внимания те строки той же сатиры Сумарокова («О благородстве»), где он, обращаясь к дворянину, дает ему следующий благой совет:

А если у тебя безмозгла голова,
Пойди и землю рой или руби дрова;
От низких более людей не отличайся.
И предков титлами уже не величайся!..

Тут целая дворянская утопия: роют землю и рубят дрова люди «подлые» не только *de jure*, но и *de facto*; люди, лишенные известных прав не только в силу своего сословного происхождения, но также, — и это самое главное, — вследствие своей тупости. В то же время «славу» добывают себе «дворяня», награждаемые высоким общественным положением не только за заслуги своих предков (эти заслуги — только «задаток»), но еще и за свою личную даровитость. Иначе сказать, Сумароков хочет, чтобы «дворяня» были аристократами в этимологическом смысле этого слова, т. е. чтоб «благородное» сословие состояло из самых лучших людей своей страны. И то обстоятельство, что это кажется ему возможным, ясно показывает, как наивно и в то же время крепко держался он дворянской точки зрения.

У Сумарокова, как и у Кантемира, резкие нападки на дворян, не желающих добывать себе славу своими собственными трудами, являются отчасти литературным выражением той борьбы между *породой* и *выслугой*, которая, начавшись еще в Московской Руси, не прекратилась, да, как мы видели, и не могла прекратиться и после Петровской реформы. Но после этой реформы она осложнилась новым элементом: *стремлением птенцов Петровых к западноевропейскому просвещению*.

Сторонники просвещения не могли помириться с ленивым обскурантизмом «фамильных людей», ставивших породу гораздо выше знания. Правда, не все «фамильные люди» отличались таким обскурантизмом. Между ними встречались личности, тоже сильно дорожившие просвещением. Но не против них и направлялись стрелы наших сатириков. Филарет оговаривается у Кантемира:

Знаю, что несправедливо забыта бывает
Дедов служба, когда внук в правах успевае,т,
Но бедно блудит наш ум, буде опираться
Станем мы на них одних.*

* На одних дедов.

Его злые обличения направляются лишь против тех родовитых бездельников, которые избегают труда, не хотят учиться и интересуются только западноевропейскими модами, хорошо зная,

...что фалды должны тверды быть, не жидки,
В пол-аршина глубоки и ситой подшиты... и т. д.

Против таких же бездельников направлялась и сатира Сумарокова. Нападки на жалких людей этого калибра имели известное общественное значение. И было бы странно, если бы идеологи служилого класса не нападали на всякого рода «нетчиков». Но борьба с «нетчиками» не расширяла кругозора наших сатириков и не сообщала их мысли более широкого размаха. В своем отношении к тогдашнему нашему общественному строю мысль их оставалась *консервативной*, несмотря на резкость облекавших ее выражений.

Резкость выражений сама была плодом западноевропейского влияния. Взгляд на «благородство», заключающийся в сатирах Кантемира и Сумарокова, напоминает взгляд на него Ювенала и, — чтобы указать на источник, более близкий в хронологическом смысле, — Буало.

В своей пятой сатире («*Sur la véritable noblesse*») французский сатирик писал, обращаясь к маркизу Данжо:

La noblesse, Dangeau, n'est pas une chimère,
Quand, sous l'étroite loi d'une vertu sévère,
Un homme issu d'un sang fécond en demi-dieux
Suit, comme toi, la trace où marchaient ses aïeux.
Mais je ne puis souffrir qu'un fat doute la mollesse
N'a rien pour s'appuyer qu'une vaine noblesse,
Se pare insolamment du mérite d'autrui.*

Буало выражается еще гораздо резче, нежели Кантемир и Сумароков. Он говорит, что если данное лицо ведет себя недостойным образом, то, хотя бы оно происходило от самого Геркулеса, он не постеснится назвать его

...Un lâche, un imposteur,
Un traître, un scélérat, un perfide, un menteur,
Un fou, dont les accès vont jusqu'à la furie,
Et d'un tronc fort illustre une branche pourrie.**

Буало с удовольствием представляет себе то счастливое время, когда законы были для всех одинаковы:

* Дворянство — не химера, когда человек, происходящий из рода, к которому принадлежит много полубогов, сам, подобно тебе, идет по пути своих предков. Но мне нестерпимо видеть, что фаты, изнужденность которых может сослаться только на их пустое благородство, нахально величаются чужими заслугами.

** Подлецом, обманщиком, изменником, мошенником, коварным лжецом, безумцем, страдающим припадками бешенства, гнилою ветвью знаменитого дерева.

Chacun vivait content et sous d'égaux lois,
Le mérite y faisait la noblesse et les rois.*

Буало принадлежал к той французской интеллигенции *буржуазного происхождения*, которая ничего не имела против старого порядка и на все лады пела его славу. Впрочем, в его время порядок этот и не успел еще состариться. И все-таки *под пером Буало рассуждения на тему об истинном благородстве имели не совсем тот смысл, какой приобретали они в произведениях русских сатириков из дворянской среды.*

Во Франции монархия победила феодальную аристократию благодаря поддержке третьего сословия. В России она сокрушила боярскую оппозицию, опираясь на служилый класс. Это огромная разница. Третье сословие во Франции заинтересовано было в полном уничтожении *всяких* сословных привилегий. А служилый класс в России, восставая против привилегированного положения бояр, *сам стремился сделаться привилегированным сословием.*

И именно в XVIII веке, когда возникла наша сатира, это его стремление осуществилось в довольно широкой мере. Поэтому его идеологи решительно неспособны были придать нападкам на *породу* тот широкий размах, какой сообщили им во Франции идеологи третьего сословия. Конечно, сам Буало отнюдь не был революционером. Он лишь вздыхал о том золотом веке, когда все были равны перед законом. Но через каких-нибудь пятьдесят-шестьдесят лет после него французские просветители провозгласили, что надо восстановить тот справедливый общественный строй, который существовал в золотую эпоху общественного равенства. *Вздых сожаления о прошлом довольно быстро превратился, на французской почве, в практическую программу будущего.* Чтобы наши писатели могли усвоить себе эту программу, им нужно было предварительно *покинуть точку зрения дворянского сословия.* Кантемир и Сумароков были еще неспособны на это.

Наивная вера во всемогущество просвещения предохраняла наших литературных деятелей первой половины XVIII века от помыслов об общественно-политических реформах. «Невежество, — говорил Сумароков, — есть источник неправды; бездельство полагает основание храма его; безумство созидает оный; непросвещенная сила, а иногда и смесившаяся со пристрастием, укрепляет оный». Достаточно распространить просвещение, чтобы искоренить неправду даже в судах. А просвещение распространяется центральной властью...

* Все были довольны, живя под равными законами, и только по своим заслугам люди достигали дворянского и королевского звания.

Подобно Татищеву, Сумароков хотел, чтобы образование сделалось доступным также и для женщин. В «Хоре к превратному свету» синица рассказывает, что

За морем тово не болтают:
Девушке де разума не надо,
Надобно ей личико да юбка,
Надобны румяны да белилы...

VI

Сумароков — типичный русский дворянин XVIII столетия, приобщившийся к западноевропейскому просвещению. Во взгляде на историческое значение и современные задачи верховной власти он вполне сходил с Татищевым. В басне («притче») «Пучек лучины» он писал:

Нельзя дивиться, что была
Под игом Российская держава,
И долго паки не цвела,
Когда ее упала слава;
Вить не было тогда
Сего великого в Европе царства,
И завсегда
Была вражда
У множества князей единая государства*

Теперь татары готовы служить России, а прежде они несли «страх российским сторонам». Так было вплоть до «Иоанна» (очевидно, Третьего);

Надежных не было лесов, лугов и пашни,
Доколе не был дан
России Иоан,
Великолепные в Кремле воздвигший башни.**

Говоря о своем времени, Сумароков всегда изображает верховную власть источником просвещения и правды в России. Если он смело ополчается на борьбу с пороками, то его мужество поддерживается надеждой на поддержку со стороны государыни:

Когда я истину народу возвещу,
И несколько людей сатирой просвещу;
Так люди честные, мою зря миру службу,
Против бездельников ко мне умножат дружбу:
Невежество меня ничем не возмутит,
И российская меня паллада защитит;
Не малая статья ей бессмертной славы.
Чтоб были чищены ее народа нравы⁶

* Басня «Пучек лучины».

** «Совет боярской».

В другом месте той же сатиры он восклицает:

Пускай плуты попрут и правду и законы,
Мне сыщется истина на помощь обороны:
А если и умру от пагубных сетей,
Монархиня по мне покров моих детей.

При таком отношении к верховной власти становится понятным желание воспеть ее в более или менее торжественной оде. Нам теперь решительно невозможно наслаждаться «пиическими» произведениями этого разряда. Не говоря уже об их неуклюжем языке, они отталкивают нас своим безмерно льстивым содержанием. Нам очень подозрительно «странное пианство», будто бы овладевавшее одописцами. Мы презрительно пожимаем плечами, когда читаем у Тредьяковского, что Анна — «верх Императриц». И не менее тяжелое впечатление производит на нас хотя бы вот эта рифмованная лесть, сочиненная по случаю коронавания той же Анны:

Превыспренный весь лик и Небо все играет,
Изряднейшим лучем нас солнце просвещает;
Несет земля свой плод;
Нам воздух дышет здравый,
Цветет дух всюду правый;
Вшел благостей к нам род,
Веселием у нас всех блещут рек потоки...
Погибли в бездне все премерские пороки!

И так далее, и так далее. Льстиво до тошноты! Чувствуешь глубокую обиду за литературу, когда читаешь подобные литературные упражнения.

Несправедливо было бы попрекать грехом подобных песнопений одного многострадального Василия Кирилловича. В главе, посвященной Ломоносову, я уже отметил, что тем же грехом грешил и гениальный «архангельский мужик». Разумеется, несвободен от него и Сумароков. Трудно льстить больше, чем льстил он Елизавете в оде на день ее рождения:

Ты наше время наслаждаешь,
Тобою Россов век цветет,
Ты новы силы в нас рождаешь,
Тобой прекраснее стал свет.
Презренны сих времен морозы,
Нам мнится на полях быть розы,
И мнится, что растут плоды;
Играют реки с берегами,
Забвен под нашими ногами
Окамененный ток воды...

Всякий скажет теперь: некрасиво! Однако историк должен помнить, что есть обстоятельства, значительно смягчающие вину этих некрасивых литературных деяний. Наши одописцы льстили без меры. Это, к сожалению, неоспоримо.

Но, во-первых, лесть в оде требовалась обычаем того времени. Это был отвратительный обычай; но тогдашние читатели и слушатели знали, что преувеличенные похвалы, содержавшиеся в одах, должны быть принимаемы *Sine grano salis*.^{*} А главное, — на что я собственно и хочу обратить внимание читателя, — одописцы были поклонниками самодержавной власти «не токмо за страх, но и за совесть». От нее, и только от нее, ждали они почина прогрессивного движения в России. Как же было им не превозносить и не воспевать ее в своих одах?

Наконец, надо сказать еще и вот что. У нас в XIX веке долго держались обычая хвалить власть не только за то, что она сделала, сколько за то, что она могла бы и должна была бы сделать, по мнению хвалившего. А из наших одописцев XVIII столетия кажется один только Тредьяковский не позволял себе давать власти благие советы под предлогом восхваления будто бы свойственной ей беспредельной мудрости. Мы уже знаем, что некоторые оды Ломоносова заключали в себе целый ряд проектов по части просвещения России. Изрядное число хороших практических советов напихано было и в полные лести оды Сумарокова.

По случаю именин Екатерины II, в ноябре 1763 года, он «пел»:

Виду Россов пышны грады,
И приятны вертограды.
Как Едем иль сад Петров:
Новы протекают реки.
Кои рыли человеки:
Ход по всей России нов.
Горы злато изливают,
Златом плещет окиян:
Села степи покрывают
И пустыни многих стран.

Это — наставления, относящиеся к области народного хозяйства. А вот наставления по части внутренней политики.

В оде цесаревичу Павлу, написанной ко дню его именин, 29 июня 1771 года, Сумароков, возвещая «свету» добродетели высокого именинника, доводит до сведения этого последнего, что монарх, как он должен быть,

С законом басен не мешает,
И разум правдой украшает,
Пренебрегая сказки жен:
Не внемля наглу лицемерству,
Не повинуюсь суеверству,
Которым слабый дух врзжен.

^{*} Букв. «со щепоткой соли», т. е. не всерьез, с оговоркой (лат.).

На этом дело не кончается. В той же весьма льстивой оде говорится:

Когда монах насилью внемлет,
Он враг народа, а не царь;
И тигр и лев живот отъемлет,
И самая последняя тварь:
Змея презренья не умалит,
Когда кого, ползя, ужалит,
Пребудет та ж она змея...

Нестройный царь есть идол гнусный
И в море кормщик неискусный:
Его надгробье: «был он яд»;
Окончится его держава,
Окончится его и слава:
Исчезнет лесь, душа во ад.

Не сносят никогда во гробы
Цари сияния венца;
Сиянье царския особы
Есть имя подданных отца.

Не знаю, какое действие оказывали подобные наставления на тех весьма высокопоставленных читателей, для которых они предназначались. Полагаю, ровнехонько никакого. Но что они должны были способствовать прояснению общественно-политических понятий *обыкновенных* смертных (хотя бы и шляхетного происхождения), это очевидно. Сколько-нибудь просвещенных читателей того времени напыщенно-льстивый язык одописцев, как сказано, вряд ли вводил в заблуждение: они понимали, что это — пустая формальность. Во второй половине XVIII века сатирическая литература стала едко насмехаться над льстивым языком одописцев*. Иное дело — благие советы, преподносившиеся властителям теми же одописцами. В этих советах выражались политические взгляды передовых русских людей того времени. И над ними, наверно, никто не смеялся. Напротив, давая их, одописцы выступали, подобно сатирикам, просветителями читающей публики.

VII

Но гораздо более, нежели похвальные слова, оды и дифирамбы, просвещала читателей наша драматическая литература. Н. Булич справедливо сказал, что сценические представления были таким благородным родом забав, который далеко оставлял за собой грубые забавы Москов-

* В статье об Е. И. Кострове Н. С. Тихонравов указал, как удачно явила «Смесь» 1769 г. одописцев: «Имеет ли простой народ добродетели? Я того не знаю, затем, что стихотворцы прославляют добродетели лирическим гласом, однако я никогда не читал похвальной оды крестьянину, также как и кляче, на которой он пашет» (Сочин. Н. С. Тихонравова, т. III, ч. I, стр. 188).

ской Руси. Вполне естественно, что, по выражению того же Н. Булича, «на театр смотрели, как на педагогическое средство, не только при дворе... но и между мыслящими современниками»*.

Излишне распространяться о том, каким образом могла воспитывать зрителей *комедия*. Это понятно само собою: совершенно так же, как и сатира, т. е. *посредством насмешки*. Менее понятно педагогическое действие *трагедии*.

Наша трагедия XVIII века имеет плохую славу. Так, трагедию Сумарокова, с которой мы исключительно будем иметь дело в этой главе, только что цитированный мною исследователь называет «раскрашенной яркими красками, но жалкой литографией с более достойного оригинала»**. Ввиду этого позволюсь спросить себя, откуда же брались педагогическое действие жалкой литографии? И каким образом ее зрелище могло стать благородной забавой?

Трагедия Сумарокова воспитывала зрителей не своими эстетическими достоинствами: они были совершенно ничтожны. Ее воспитательное значение обуславливалось теми нравственными и политическими понятиями, которые выражались в речах ее действующих лиц. Что касается этих понятий, то, конечно, их высказывают нередко такие лица, у которых мы бы никак не предположили их, если бы судили с точки зрения психологической вероятности. Но совсем не прав Н. Булич, утверждая, что «вообще понятия о нравственности в этих трагедиях кажутся извращенными потому, что далеко не похожи на наши»***. На самом деле, многие из этих понятий до сих пор очень подходят к нашим и ничуть не страдают извращенностью.

Восьмью одно из самых важных: *понятие о долге вообще и о долге перед своей родиной в частности*. Мы часто встречаем его в монологах героев Сумарокова. Посмотрим, какой оттенок имеет оно там.

Князь Шуйский говорит своей дочери Ксении, которой угрожает смерть от руки Димитрия Самозванца****:

За град отеческий вкушай, княжна, смерть люту!

Подобно этому, новгородский посадник Гостомысл ставляет свою дочь Ильмену*****:

Где должность говорит, или любовь к народу,
Там нет любовника, там нет отца, ни роду.
Кто должности своей хранение являет,
Храня ее в бедах, свой дух успокоет.

* «Сумароков», стр. 26.

** Там же, стр. 152.

*** Там же, стр. 146.

**** «Димитрий Самозванец», последнее явление пятого действия.

***** «Синав и Трувор», первое явление третьего действия.

Гамлет высказывает то убеждение, что

...Сердце благородно
Быть должно праведно, хоть пленно хоть свободно!*

От нежной Офелии мы слышим:

Я чести не хочу бесчестьем искать...

Борьба между личным чувством и должностью составляет «пафос» первой по времени трагедии Сумарокова «Хорев».

Брат русского князя Кия, Хорев, любит Оснельду, дочь свергнутого Кием прежнего князя, Завлоха. Она живет как пленница в Киеве и отвечает Хореву взаимностью. Но он — брат Кия, кровного врага ее отца, и она не считает себя в праве следовать своему чувству. В третьем явлении первого действия она признается ему в любви, но отвергает, как нравственно непозволительную, всякую мысль о своем браке с ним:

Престань себя, мой князь, надеждой этой лстить;
Судьба мне жизнь велит в несчастьи владить.
Судьба меня с тобой навеки разделила,
И тщетно нас любовь с тобой соединила.
Оснельда может ли супруга зреть того,
Чей с трона брат отца низвергнул моего,
И трупы братьев моих влачил бесстыдно,
Взирая на престол Завлохов зверовидно;
Граждан без жалости казнил и разорил
И кровью нашею весь город обагрил,
Оснельду в пеленах невольницей оставил.
Перун! почто меня от смерти ты избавил?
А жизнь оставя, дал ты чувствовать мне честь?
Или — чтоб было мне труднее иго несть?
Мне б лучше умереть, чем в тяжкой жить неволе
И видеть хищника на отческом престоле.

В сердце Оснельды любовь борется с чувством долга, как борется она с ним в сердце Шимэны⁷ у Корнеля. И ни тут, ни там в психологическом процессе борьбы нет ничего извращенного. Чувство долга берет верх над любовью как у Шимэны, так и у Оснельды. Это опять немало не свидетельствует об извращенности.

Ровно ничего не свидетельствует о ней и переживания Хорева. В нем совершается борьба тех же чувств: «должность» побуждает его идти сражаться с подступившим к Киеву неприятелем. Но этот неприятель — отец любимой им девушки, и вот Хорев не то чтобы колеблется, а жестоко страдает. При этом нравственные страдания наводят

* «Гамлет», второе явление первого действия.

его на размышления, совсем небезынтересные и для наших дней. Кий говорит ему:

Возьми оружие, твой долг тебя зовет,
И слава на полях тебя с победой ждет.

На это Хорев отвечает, что он давно уже научился не страшиться врагов и переносить лишения походов. Однако он не может не думать о жертвах войны:

Но сколько воинов смерть алчна пожрала!
Возбудит ли вдовам супругов их хвала,
Что в мужестве своем с мечьми в руках заснули,
И трупы их в крови противничьей тонули?
Ах, сколько в снедь зверям отцов, супругов, чад
Повержено мечом! и сколько душ взял ад!

Где же выход? Неужели этот воин додумается до того, что никогда не надо сопротивляться злу насилием? Нет, он только старается установить различие между *самозащитой* и несправедливым *нападением на других*. И он не считает справедливой войну с Завлохом, который добивается лишь освобождения из плена своей дочери. Хорев говорит:

Когда на жертву нас злой смерти долг приносит,—
Умрем; но жертв она теперь не просит.
Когда народ спасти не можно без нея,
Мы в пропасть снидем все; и первый сниду я:
Но ныне страху нет народу и короне;
А меч дается нам лишь только к обороне.

Он не довольствуется этим замечательным различием. Мучительное сознание того, что справедливое требование Заплоха может подать повод к страшному кровопролитию, наводит его на мысль о том, как вообще много ненужной жестокости вносят люди в свои военные столкновения:

Довольно без того мы кровь взаимно льем,
Когда по должности сражаемся с врагом
И защищение с отмщением мешаем.
Под видом мужества мы зверство возвышаем.
Какое имя злу лезть низкая дала?
Убийство и грабеж геройством назвала!
Мы, брани окончав, отмстительны в удаче,
Не попечительны, зря бедных в горьком плаче.

В конце концов, и у Хорева любовь отступает перед долгом. Когда (в третьем действии) Оснельда, только что покушавшаяся на свою жизнь, просит его дать ей возможность убежать к отцу, который, надо заметить это, противится ее браку с Хоревом и уже наступает на Киев, он отказывается. По его мнению, при данном положении

дел, такой поступок с его стороны явился бы изменой, которой не могла бы одобрить сама Оسنельда:

...Помысли, рассуди,
Могу ль я тем тебе свободу возвратить?
Что будет обо мне тогда весь град гласить?
Что скажешь ты сама?

Осенльда может ли изменника любить?

Нет, надо быть справедливым! Следует в полной мере воздать должное нашей литературе XVIII века. И пора отвергнуть ходячее у нас мнение об ее бессодержательности. Она была содержательна, но, разумеется, на свой собственный лад.

Обыватели старой Московской Руси так или иначе несли тягло, — когда им не удавалось бежать от него «в прекрасную пустыню», — или служили государю, когда нельзя было отсидеться в «нетех». Но они крайне редко задумывались о своих «должностях» перед родиной и совсем никогда не размышляли о том, как следует вести себя в случае неприятных столкновений с жителями других государств. С совершенно спокойным сердцем жгли, грабили и всячески опустошали они города и села даже единокровной и единоверной им Литовской Руси. Литература, возникшая после Петровской реформы, тотчас же заметила крайнюю скудость запаса нравственных понятий, оставшегося от доброго, старого времени, и принялась пополнять его всеми зависевшими от нее средствами. В эту сторону направляли свои усилия все ее отделы, не исключая даже и громогласной оды.* По всей вероятности, влияние сатиры было сильнее влияния всех остальных родов литературы. Но все-таки немало тут сделала трагедия вообще и трагедия Сумарокова в частности.** И в этом состоит значительная заслуга ее в великом деле европеизации России.

VIII

Обыкновенный смертный должен забыть свой личный интерес, когда этого требует благо его страны. Так учила трагедия. Что же касается коронованных лиц, то она требовала от них прежде всего уважения к закону. Уже известный нам Хорев, брат русского князя Кия, говорит:

Те люди, коими законы сотворены,
Закону своему и сами покорены.

* Исключение приходится сделать только для того разряда поестей, на который я ссылался. Но это совсем особая литература.

** Едва ли не самыми идейными нашими трагедиями в первой половине XVIII в. должны быть признаны трагедии ученика Сумарокова, Я. Б. Княжнина.

Он же подробно перечисляет необходимые правителю качества:

Потребно множество монарху проницанья.
Коль хочет он носить венец без порицанья.
И если хочет он во славе быть тверд,
Быть должен праведен и милосерд.*

Упомянутая выше княжна Ксения Шуйская просит бога:

Дай нам увидети монарха на престоле,
Подвластна истине, не беззаконной воле!
Увяла правда вся! тирану весь закон —
Едино только то, чего желает он,
А праведных царей, для их бессмертной славы
На счастья подданных основанны уставы.**

Та же молодая девушка, к удивлению нашему обнаруживающая такой глубокий интерес к политике, требует свободы совести и «снисходительного» отношения властителя к своим подданным:

Блажен на свете тот порфиноносный муж,
Который не теснит свободы наших душ,
Кто пользой общества себя превозвышает,
И снисхождением сан царский украшает,
Даруя подданным благополучны дни,
Страшатся коего злодеи лишь одни.***

Суровый, но справедливый князь Кий, объясняя, почему он нисколько не опасается измены со стороны своих подданных, указывает на свое отношение к ним. Он говорит боярину Сталверху:

Что может, рассуди, изменник учинить?
Народ бесчисленный удобно ль возмутить,
В котором множество мне сердцем покоренно?
Владычество мое любовью утверждено;
Меня подвластные непринужденно чтят,
Отца во мне сердца их преданные зрят.****

Дочь Гостомысла Ильмена убеждает князя Синава:

Ты начал царствовать с щедротой в сей стране:
Благополучием явил себя народа,
И что произвела на то тебя природа,
Чтоб ты ко истинне свой разум простирали,
И плачущих рабов ты слезы отирали.*****

Знаменательный оборот речи! Подданные — *дети* правителя. Но в то же время они — его *рабы*. И так выражается

* Действие пятое явление первое.

** «Димитрий Самозванец», действие второе, явление первое.

*** То же явление того же действия.

**** «Хорев», действие второе, явление первое.

***** «Синав и Трувор», действие второе, явление пятое.

не одна Ильмена. В первом явлении того же действия Синав получает от своего брата Трувора такой совет:

Рабы твои, о князь! твои любезны дети,
Не зачинай иным ты образом владети.

В «Гамлете» Полоний проповедует принцип ничем не прикрытого деспотизма:

Кому прощать царя? Народ в его руках.
Он бог, не человек в подверженных странах.
Когда кому даны порфира и корона,
Тому вся правда, власть, и нет ему закона.

Но Гертруда возражает на это совершенно в духе Ильмены — и... самого Сумарокова:

Не сим есть праведных наполнен ум царей,
Царь мудрый есть пример всей области своей,
Он правду паче всех подвластных наблюдает
И все свои на ней уставы созидает,
То помня навсегда, что краток смертных век,
Что он в величестве таков же человек.
Раби его ему любезные суть чады,
От скипетра его лиется ток отрады.

Правду наблюдает и льет отраду от своего скипетра, а его дети,—подданные,—тем не менее остаются его рабами! Это очень характерная особенность тогдашней (передовой!) русской идеологии. Можно сказать, пожалуй, что, подобно всем передовым писателям XVIII века, Сумароков был сторонником просвещенного абсолютизма. Но в том-то и дело, что в его трагедиях говорится, собственно, о той разновидности просвещенного абсолютизма, которой нельзя дать другого названия, кроме *просвещенного деспотизма*.

Русская трагедия шла по следам французской. Но, как увидим ниже, во французской трагедии нет идеализации *деспотизма*, хотя бы и просвещенного. Да оно и понятно, если сам Боссюэ, бывший убежденным сторонником неограниченной монархии, находил нужным сделать ту оговорку, что *рабское* подчинение подданных своему государю противоречит французским нравам.

Порядок идей и в этом случае соответствовал порядку вещей. Ломоносов говорил: «Понеже наше стихотворство только лишь начинается, того ради, чтоб ничего не угодного не ввести, а хорошего не оставить, надобно смотреть, кому и в чем последовать». А еще раньше его, Ф. Салтыков, изучая в Англии «уставы» разных европейских государств, выбирал из них, для нашего домашнего употребления, лишь то, что «приличествует токмо самодержавствию а не так, как республикам или парламенту». Подобно этому

поступала и наша изящная литература XVIII столетия. Она тоже старалась «ничего неугодного не ввести». Из богатой сокровищницы западноевропейских общественно-политических идей она брала лишь то, что «приличествовало самодержавствию, а не так, как республикам или парламенту». Да и понятию «самодержавия» она придавала, как видим, свой домашний оттенок. Порядок идей определялся порядком вещей.

Уважать законы, быть «снисходительным» к своим детям-рабам, защищать обиженных... Чем отличаются эти требования от того, чего добивались от московских государей сторонники «подкрестных» записей? Ничем. И это надо запомнить.

Петровская реформа не изменила объема требований, предъявлявшихся к русским государям теми их подданными, которые, по тем или другим причинам, не мирились с «российской» действительностью». Она и не могла изменить его, так как ближайшим ее политическим следствием было изменение общественных сил *не в ущерб, а к выгоде центральной власти*. Разница была лишь в том, что «подкрестных записей» добивался отживший общественный слой, боярство,— между тем как советы просвещенному деспотизму насчет уважения к законам и «снисходительного» обращения с подданными шли от того слоя русских сторонников западного просвещения, которому суждено было расти и укрепляться, правда, с медленностью, нередко доводившей до отчаяния благороднейших его представителей.

В своем «Гамлете» Сумароков устами Гертруды напоминает монархам о краткости «смертных века», т. е. о загробной ответственности за злые поступки. Но Гертруда только мимоходом касается этого предмета. Зато Димитрий Самозванец — тоже совсем неожиданно! — вдается в большие подробности по этой части. Ему видится страшная картина его собственного мучения в аду:

Уныли вокруг Москвы прекрасные места,
И ад из пропастей разверз на мя уста,
Во преисподнюю зрю мрачные степени.*
И вижу в тартаре мучительные тени;
Уже в геене я и в пламени горю...

Этой страшной картине тот же беспощадный тиран противопоставляет очаровательную картину райского блаженства добрых царей:

Воззрю на небеса — селенье райско зрю:
Там добрые цари природы всей красую,
И ангелы кропят их райскою росою...

* Т. е. ступени.

Цель противопоставления очевидна: поразить воображение властителей, поставить им на вид, что их собственный интерес,— и еще какой: не временный, а вечный! — предписывает им уважать законы и быть «снисходительными» или (что одно и то же) «добрыми». Если мы вспомним, что еще Курбский пугал Ивана загобным правосудием, то убедимся, что Петровская реформа не вызвала никакой непосредственной перемены на святой Руси в смысле той *ultima ratio**, к которой могли апеллировать русские обыватели, когда их государи показывали себя слишком мало «снисходительными».

Отмечу еще одну черту Сумароковской трагедии. Подобно французской трагедии XVIII века, она нападает на католицизм. Местами нападки ее становятся очень резкими. На замечание Димитрия Самозванца о папской святости, которой не хочет подчиниться Россия, его наперсник Пармен возражает:

Мне мнится, человек себе подобным брат,
И лжеучители рассеяли разврат,
Дабы лже святости их черни возвещались,
И ко прибытку им их басни освящались...

Сложила Англия, Голландия то бремя
И пол-Германии; наступит скоро время,
Что и Европа вся откинет прежний страх,
И с трона свернется прегордый сей монах,
Который толь себя от смертных отличает,
И чернь которого как бога почитает.

Самозванец находит такие речи «дерзостными». Но их «дерзость» весьма значительно умеряется тем, что, горячо нападая на *западную* церковь, герои Сумарокова с большим почтением относятся к *восточной*. В той же трагедии («Димитрий Самозванец») Георгий, князь Галицкий, молится о том, чтобы католицизм не восторжествовал над православием:

О боже, ужас сей от Россов отведи!

Замечательно, что ни в сатирах, ни в «притчах» Сумарокова мы не встречаем нападок на русское духовенство, столь частых у Кантемира. Это объясняется тем, что настроение Кантемира было гораздо ближе к настроению Петра Первого, который очень не жаловал «больших бород». В эпоху Сумарокова власть относилась к таким бородам гораздо «снисходительнее». Да и они, с своей стороны, совершенно отказались даже от той пассивной оппозиции, с которой относились к преобразовательной деятельности

* *ultima ratio* — букв. — последний довод, решительный аргумент (лат.).

Петра. Исключения, вроде оппозиционной вспышки Арсения Мациевича, в счет не идут и только подтверждают общее правило.

Как ни узки по обстоятельствам времени пределы политической мысли Сумарокова, но и она, высказываясь в его стихотворениях, и особенно в его трагедиях, совсем не извращала понятий тогдашних русских людей, а очищала их, так как все-таки предъявляла к правителям известные требования, шедшие вразрез с правилом московского деспотизма: мы можем, по одному своему усмотрению, казнить и жаловать своих холопов. Никто не скажет, что бесполезно было для политического развития современников Сумарокова, например, следующее рассуждение о чести одного из его героев (князя Мстислава):

О, честь единственный источник нашей славы,
На коей истинны основаны уставы,
Геройски действия и общей пользы мать!
Сильна едина ты сан царский воздымать.
Коль нет тебя с царем, он божий гнев народу,
И скиптр его есть меч, возъятый на свободу...⁸

<1914—1917>
